

МАТРЕНИН ДВОР

1959, выдержки Дятловых от 20.08.2018

1. На станции Торфопродукт, состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись: «На поезд садиться только со стороны вокзала!» Гвоздём по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В Торфопродукт легко было приехать. Но не уехать.
2. Я только потом узнал, что год за годом, многие годы, ниоткуда не зарабатывала Матрёна Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не платили. Родные ей помогали мало. А в колхозе она работала не за деньги — за палочки. За палочки трудодней в замусленной книжке учётика.
3. Так и поселился я у Матрёны Васильевны. Комнаты мы не делили. Её кровать была в дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, отгесня от света любимые матрёнины фикусы, ещё у одного окна поставил стол. Электричество же в деревне было — его ещё в двадцатые годы подтянули от Шатуры. В газетах писали тогда — «лампочки Ильича», а мужики, глаза тараща, говорили: «Царь Огонь!»
4. Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо. Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печи и кухню от чистой избы. В чистую избу они не переползали. Зато в кухне по ночам кишели, и если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку — пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились. Приносил я из химического кабинета буры, и, смешивая с тестом, мы их травили. Тараканов менело, но Матрёна боялась отравить вместе с ними и кошку. Мы прекращали подсыпку яда, и тараканы плодились вновь.
5. Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка её круглового лица, которую, заработав наконец на фотоаппарат, я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрёна принимала выражение или натянутое, или повышенно-суровое.
6. Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу. В ту осень много было у Матрёны обид. Вышел перед тем новый пенсионный закон, и надоумили её соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть, — и из колхоза её отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матрёной: она была больна, но не считалась инвалидом; она четверть века проработала в колхозе, но потому что не на заводе — не полагалось ей пенсии за себя, а добиваться можно было только за мужа, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже пятнадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его стаже и сколько он там получал. Хлопоты были — добыть эти справки; и чтоб написали всё же, что получал он в месяц хоть рублей триста; и справку заверить, что живёт она одна и никто ей не помогает; и с года она какого; и потом всё это носить в собес; и перенашивать, исправляя, что сделано не так; и ещё носить. И узнавать — дадут ли пенсию.
7. Но лоб её недолго оставался омрачённым. Я заметил: у неё было верное средство вернуть себе доброе расположение духа — работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картовь. Или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетёным кузовом — по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрёна уже просветлённая, всем довольная, со своей доброй улыбкой.
8. Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы — и щемило сердца. Стояли вокруг леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось торфу жителям, а только везли — начальству, да кто при начальстве, да по машине — учителям, врачам, рабочим завода. Топлива не было положено — и спрашивать о нем не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно или

- мутно или простодушно и о чем угодно говорил, кроме топлива. Потому что сам он запасся. А зимы не ожидалось.
9. Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей. Ходили днем. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затомошился. Это-то время бабы его и брали. Зараз уносили в мешке торфин шесть, если были сыроваты, торфин десять, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда километра за три (и весил он пуда два), хватало на одну протопку. А дней в зиме двести. А топить надо: утром русскую, вечером «голландку».
 10. — Во как! — пеняла Матрена вслед. — И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?...
 11. Всё же к той зиме жизнь Матрены наладилась как никогда. Стали-таки платить ей рублей восемьдесят пенсии. Еще сто с лишком получала она от школы и от меня.
 12. — А что — пенсия? — возражали другие. — Государство — оно минутное. Сегодня, вишь, дало, а завтра отымет.
 13. Не сказать, однако, чтобы Матрена верила как-то истово. Даже скорей была она язычница, брали в ней верх суеверия: что на Ивана Постного в огород зайти нельзя — на будущий год урожая не будет; что если метель крутит — значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь — быть гостю. Сколько жил я у нее — никогда не видал ее молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинала «с Богом!» и мне всякий раз «с Богом!» говорила, когда я шел в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Был святой угол в чистой избе, и икона Николая Угодника в кухоньке. Забудни стояли они темные, а во время всенощной и с утра по праздникам зажигала Матрена лампадку.
 14. Исполнял Шаляпин русские песни. Матрена стояла-стояла, слушала и приговорила решительно: — Чудно поют, не по-нашему.
 15. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко сеней, теперь укороченных, — и грел этот отсвет лицо Матрены. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей.
 16. Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю заветку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях.
 17. И лишь когда я все это сделал, я встал пнем посреди пустой избы: что-то сказано было о двадцать первом скором. К чему?... Может, надо было все это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая — ничего не объяснить нечиновному человеку?
 18. На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком — все, что осталось от Матрены. Скинули мешок, чтоб обмывать. Все было месиво — ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала: — Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться...
 19. Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрены, захватили избу, козу и печь, заперли сундук ее на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрене близкие.
 20. Матрена отставала, но потом приходила вновь и рыдала еще неистовее. Вышла тогда из угла старуха древняя и, положив Матрене руку на плечо, сказала строго: — Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю.
 21. И именно это — что одни сани дразнили, ждали с готовым тросом, а вторые еще можно было выхватывать из огня — именно это терзало душу чернобородого Фаддея всю пятницу и всю субботу. Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал

убитый им сын, на той же улице — убитая им женщина, которую он любил когда-то, — Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачен тяжелой думой, но дума эта была — спасти бревна горницы от огня и от козней Матрениных сестер. Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один. Что добром нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо.

22. В самом деле! — ведь поросенок-то в каждой избе! А у нее не было. Что может быть легче — выкармливать жадного поросенка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало. А она не имела... Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы... Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша.

Конец текста